

лось петь длиннейший куплет, который и составил Глинка. У меня хранится партитура для оркестра, вся написанная его рукой, и я берегу ее как дорогое воспоминание об этом великом таланте³.

А. Н. СТРУГОВЩИКОВ

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ГЛИНКА

(1839—1841)

Кто читал автобиографию М. И. Глинки и записки о нем близких ему людей, тот может себе составить довольно ясное представление о его личности и о его произведениях и обо всем многом, что обуславливало жизнь его. На мою долю осталось дополнить известное несколькими портретами и рассказать о немногих, никем еще не троугутых, не упомянутых чертах его характера, относящихся к тому времени, когда его творчество было в своем полном разгаре. К тому же я и в долгу у него: в декабре 1840 г. покойный М. И. Глинка вручил мне письмо к нему товарища его по с.-п[етербургскому] университетскому пансиону, Н. А. Мельгунова, для напечатания в «Художественной газете». Почему оно появляется в свет только теперь, объясняю ниже¹.

Я знал М. И. еще с университетского пансиона, куда он по выходе приезжал к товарищам. Я был тогда новичком². Один из его приездов (осенью 1823 г.) напоминает мне довольно живо его тогдашнюю наружность и манеры. Это было в свежий день; желтый лист нашего обширного сада только что начал спадать. Здесь-то я увидел его между видными фигурами Римского-Корсака и Лукьяновича и менее рослыми Илличевского и Подолинского. Его серьезное лицо с смуглым, южным оттенком, с прищуренным или, точнее, с прислеповатым взглядом, беспрестанно за разговором оживлялось, и если его черный сюртук резко отделялся от наших форменных сюртуков, то еще резче выделялся он своею живою живостью движений, звонким голосом и смелой, энергической речью. Иногда его отрывистые, как бы судорожные, движения неожиданно поражали вас. Или он вдруг остановится, обнимет за талию то того, то другого товарища, или станет на цыпочки и горячо шепчет им, по очереди, что-то на ухо, как это часто делают люди сосредоточенные. Роста больше малого и меньше среднего, его фигура была в главных частях соразмерна и довольно стройна. В нравственном отношении он уже и в то время, казалось, выходил из ряда людей обыкновенных. Его привязанность к однокашникам и их привязанность к нему оставили во мне неизгладимое впечатление. К чести нашего инспектора Я. В. Толмачева, его помощника И. Е. Колмакова и некоторых профессоров надобно отнести их ревность к талантам, их участие в судьбах своих воспитанников. Надобно было видеть, с каким удовольствием и самодовольствием вспоминали они о дарованиях Масальского, Глинки, Соболевского, Илличевского, Подолинского!³ Это не оставалось без влияния на так называемую закваску школы*.

* Якову Васильевичу Толмачеву теперь 98 лет, в прошедшую зиму (1872) он приезжал, по обыкновению, из деревни в Петербург для закупок и получения пенсии, а тому лет пять он еще был раза два у меня. В прошедшем же году он прислал мне свои последние переводы из Вергилия, которого когда-то знал наизусть. Это не мешало ему, однако, относиться разумно к воспитанникам, слабым в латинском языке; о них он говаривал, что из них выйдут, вероятно, хорошие математики, и редко ошибался. Его «Военное красноречие» и известная в то время полемика с Бутырским тепеь. конечно, забыты.—Примечание А. Н. Струговщикова.

В течение следовавших затем пятнадцати лет я только по временам встречался с Глинкой, как люди друг друга знающие, но и незнакомые; а с лета 1839 г. я с ним познакомился и до весны 1841 г. виделся довольно часто; чаще всего у Н. В. Кукольника и у графа Ф. П. Толстого, около которых преимущественно собирался кружок, которого душой сначала был К. П. Брюллов, а потом М. И. Глинка. Собирались, хотя и реже, у А. П. Брюллова, П. В. Басина, С. Ф. Щедрина и у Н. В. Голикова, в кружке графа М. Ю. Виельгорского, князя Одоевского, Львова, Соллогуба и у других общих знакомых. У меня собственно Глинка был всего три раза; но эти три раза, как увидим, и памятливы мне.

В марте 1840 г. приехали в Петербург фортепианист Дрейшок и скрипач Штёр. Славянин Дрейшок был уже известен; немца Штёра не знали, по крайней мере в Петербурге, вовсе. Будь они знаменитостями, наше столичное гостеприимство встретило бы их в гостиных графов Виельгорских, кн. Одоевского, А. Ф. Львова. Названные артисты были обращены к покровительству Н. Кукольника. От него они приехали ко мне и сказали, что были им представлены Глинке и Маркевичу, что все трое обещали содействовать устройству их концертов.

Николай Андреевич Маркевич — историк Малороссии, умерший в сороковых годах⁴. Отличный фортепианист, он был одним из лучших учеников Фильда. После нескольких лет деревенской жизни, он приехал в Петербург откормленным тельцом. Небольшого роста, пухлый, розовый флегматик; страстный охотник до духов и всяких умываний, мылся, поло­скался, как утка, по нескольку раз в день; он был забавный собеседник с примесью напускной малороссийской наивности; любил хорошо по­жить, пил одно шампанское да сельтерскую воду и, как следует даро­витому лентяю, жил и умер в долгах.

Вечером того же дня как Дрейшок и Штёр приезжали ко мне, Глинка и Маркевич были уже за роялем, у Кукольника. Когда я при­ехал к нему с К. Брюлловым, за которым заезжал обыкновенно в Ака­демию по соседству, они репетировали по программе, в которой Глинка еще утром условился с приезжими артистами*. Кукольник тут же со­общил мне распределение занятий по концерту в пользу Штёра; по­следняя проба назначалась у меня. К. Брюллов, как человек несрод­ный ни к какому практическому делу, оставался без должности. Заме­тив это, он сказал:

«А я приеду, если кто меня привезет, и прослушаю концерт, если уцелеют уши».

После моего замечания, что он может запастись ватой, Глинка обер­нулся к Кукольнику и сказал:

«Нестор! уведи этих профанов куда-нибудь; они нам мешают».

Маркевич прибавил: «И какую бы глупость они ни выдумали, мы согласны на все».

Брюллов, любивший пофарсить, взял меня под руку, комично рас­кланялся, и мы ушли в комнату Платона Кукольника (и вязался же фарс с его львиным затылком, грудью атлета и всегдашней, естествен­ной прической Аполлона Бельведерского!). Тут Брюллов присел к сто­лу и начал чертить карикатуры на Глинку с надписями: «Глинка на бале в Смольном, обожаемый», «Глинка, поющий без голоса и без фрака», «Глинка в восторге от своих произведений» и т. д.

При этом он приговаривал: «Как же я его отпечатаю! а вот и еще. и еще экземпляр... сюжет неистощимый!»

В следующие дни карикатур его на Глинку набралось до двадцати

* первоначально: которую одобрил Глинка

Их коллекцией завладел тогда брат его А. П. Брюллов, от которого они перешли к В. П. Энгельгардту, одному из друзей Глинки*. У меня остался только набросок головы М. И. с надписью «Глинка задумывает новую, чудовищную оперу»⁵.

Расходившийся на карикатурах, Брюллов посвящал меня в тайнства карикатурного дела, объясняя, какими частями физиономии и фигуры можно, и какими надобно жертвовать в пользу наиболее «казовых, характерных частей». Не в коня был корм. Вот Степанов так вынес из указаний Брюллова хорошую дозу.

23 апреля я получил от Маркевича записку, которую прописываю *in extenso*** ; она писана интересным лицом и характеризует взаимные отношения кружка или, как выражается Глинка в своих Записках, братии:

«Псылаю тебе, любезный собрат, моего камердинера, которому можешь вручить остальные 275 руб., что составит за мною 300 всех...

Теперь о другом: прислан ли тебе альбом мой от Каменского? Если написал что-нибудь, то доставь через этого же Зосима; мне хочет еще кой-кто вписать свои имена.

Теперь о третьем: я был у Штёра и у Дрейшока; мы толковали о деле; они не могут иначе быть у тебя, как в четверг. Между прочим, я собираюсь выучить со скрипкою концерт Липинского и может быть сыграю его у тебя. Извести можешь ли собраться к четвергу?

Еще о четвертом: Несторову статью получил ли? Пошла ли она в друкарню?⁶

Еще о пятом; но не бойся, это уже последнее: жму твою руку и проч. Твой Н. Маркевич».

Вечером 27 апреля⁷ собрались у меня: М. И. Глинка, граф Ф. П. Толстой, А. П. и К. П. Брюлловы, три брата Кукольники, кн. В. Ф. Одоевский, барон П. А. Вревский (мой однокашник, убитый при Черной), гр. В. А. Соллогуб, П. П. Каменский, М. А. Гедеонов, Э. И. Губер, В. И. Григорович, Рамазанов (тогда ученик скульптуры), П. В. Басин, С. Ф. Щедрин (брат знаменитого мариниста), А. П. Лоди (на сцене Несторов), Н. А. Маркевич, И. И. Сосницкий, поэт Шевченко, только что приехавший из Москвы скульптор Витали, В. Г. Белинский, А. В. Никитенко, И. И. Панаев, Струйский, Горонович (ученик К. Брюллова), Я. Ф. Яненко, Владиславлев и несколько моих родственников. Недоставало: О. И. Сенковского, Даргомыжского, двух братьев Степановых, Штерича, В. А. и П. А. Каратыгиных, О. А. Петрова и доктора Гейденрейха. С ними, сохранившийся у меня список приехавших, дал бы полный персонал нашего кружка, за исключениями лиц, группировавшихся более около гр. М. Ю. Виельгорского.

Дрейшок, рубивший пальцами котлеты, по выражению Глинки, исколотил в этот вечер два рояля, взятые мною у Вирта на прокат, и заставил некоторых, в том числе и Белинского, уехать до ужина; зато Маркевич удивил всех своей игрой, затмив Штёра. Все были порядочно утомлены, но веселая беседа за ужином оживила нас. Заговорили о новой опере Глинки; он не выдержал, встал из-за стола и подсел к роялю; струны задрезжали; но у Дрейшока был ключ, и он наскоро настроил инструмент. Глинка был неистощим; сначала он исполнил некоторые оконченные нумера «Руслана и Людмилы»; потом знакомил нас, более и более одушевляясь, с рисунками подготовительных партитур — и тогда исполнение заговорило об руку с творчеством. Взошло теплое утро; окна

* первоначально: одному из поклонников и ближайших людей к Глинке.

** *in extenso* (лат.)

были отворены и било семь, когда кто-то заметил, что прохожие останавливаются. Мои гости разъехались.

Концерт Штёра состоялся в зале князя Голицына (рябчика) и дал артисту 900 рублей. Этим он был обязан всего более Глинке, а потом — графу В. А. Соллогубу, доставшему бесплатно залу.

Чтобы выяснить продолжительную, бросавшуюся в глаза привязанность Глинки к Н. Кукольникову, замечу прежде всего, что самая личность Кукольника, не в меру пострадавшая от литературных нападков, была вовсе не такова, какую ее выставлял мой однокашник И. И. Панаев, — писатель, приуроченный к литературе Белинским и А. А. Краевским, — писатель *ex-machina* *. Мне тяжело говорить об этом, а надобно. Диффамация собрата была коньком Панаева; ради ее, он брал много на себя и зачастую не только без проверенных, но и безо всяких данных. Не отличался он и остроумием, придающим обличению условный характер. К тому же Н. Кукольникову приходилось служить козлом очищения за брата Платона, который пользовался плохой репутацией по управлению им делами Новосильцовых. Панаев это знал, но игнорировал, — и тем хуже для него. Н. Кукольник был от природы мягок и добр при всех своих слабостях; Панаев это знал, но игнорировал и довел свои памфлеты до ухарства. Кукольник отвечал немногими знаменательными словами: «Гласность — дело святое, но есть люди, ведущие себя дурно и в церкви». Если бы Панаев прожил сто лет, то не сказал бы ничего подобного; поэтому-то и бывшие наставники наши никогда не называли его в числе лиц, приносивших честь заведению.

Напускное, натянутое простодушие Кукольника было скоро разгадано, и действительно, трудно было встретить человека, который бы хитрил менее ловко и без всякой надобности; его природные дарования и склонность к труду его обеспечивали. Правда и то, что тщеславие и до цинизма доведенное им пренебрежение общественных приличий, могли быть объяснены только отсутствием разумности, которою он был обделен не в меру его дарований; но все же его слабости не были в существенный ущерб обществу или собрату, в чем справедливо обвинялся П. Кукольник, его старший брат. Если после этого взглянем на хорошие его стороны, на то, что было в нем даровитого, доброго, симпатичного, то отсюда выступит и оправдание Глинки, если в этом есть хоть какая-нибудь надобность. Да и знала ли петербургская публика почву, на которой выросла тесная взаимность Глинки и Н. Кукольника? Не говоря уже о чутком, музыкальном ухе Кукольника, он был хорошо посвящен и в сухое таинство контрапункта. Глинка находил в нем тонкого ценителя своих произведений, проверял с ним этюды, свои музыкальные рисунки и работал с ним часто над инструментовкой оперных номеров⁸. О. А. Петрову, ветерану нашей русской оперы, это должно быть памятно, как их близкому знакомому и верному последователю теории музыки и голосов. Конечно, Глинка занимался с Кукольниковом не как с учителем, а как с дилетантом, потому что сам был уже превосходным маэстро; тем не менее, Кукольник был ему по плечу, как выражение, как микрокосм просвещенного меньшинства публики. Образование получил Кукольник в Нежинской гимназии, и, окруженный смолоду людьми учеными, между которыми его отец занимал видное место, он обладал эрудицией университетской, был хорошим энциклопедистом **. Правда, как писатель, он вызывает перечень таких ингредиентов его шаткого ума, его парадоксальной зачастую логики, что оценка оказы-

* по непредвиденному обстоятельству (лат.)

** Отец Кукольника [В. Г. Кукольник] был профессором Педагогического инсти-

вается незавидною... Как поэту служила ему усердно фантазия, главная прислужница на высотах кастильских; но он не умел сдерживать ее своенравий, как она того требует, чтобы не отбиваться от рук. И не он ею, а она, шаловливая, владела им. К тому же, склонность писать скоро, без оглядки, большею частию из-за гонорария, заглушала в нем любовь и целомудрие поэта, без чего он не более как скоморох; отсюда слабость исполнения, не отвечающего задачам мысли, и натянутость их завершения. Сенковский, понимавший поэзию столько же, сколько я санскритские письма, воскликнул как-то неосторожно: «великий Кукольник!» Кукольник поверил ему и окончательно сбился с толку. Буквально он даже не давал себе времени прочитывать написанное, и мне случалось получать от него статьи для «Художественной газеты», требовавшие самого широкого редактирования. Из-за этого выходили у нас забавные сцены, но по его добродушию всегда оканчивали дела самым миролюбивым [образом]. При таком нескромном служении слову, нельзя было и ожидать от Кукольника произведений высокого значения, а задатки для этого были у него. Как импровизатор, как веселый и остроумный собеседник, он стоял несравненно выше себя, как литератора. Прибавьте к этому его редкое добродушие, своеобразные приемы, детскую веселость, вызывавшую иногда смех до слез в сообществе даровитого Маркевича, остроумного Сенковского, цветистого, образного почти в каждом слове Карла Брюллова, — и все это без салонных стеснений, все нараспашку, как любят художники, — и вы получите объяснение* тесного и продолжительного сближения Глинки с Н. Кукольником. Гостеприимный, сердечный князь Одоевский, будучи также дилетантом и принимавший Глинку à bras ouverts**, был как художник, как дилетант, не легко восприимчив и холодноват, а Глинке нужна была взаимность по его горячему темпераменту, по его пульсу.

Из импровизаций Кукольника привел^ч одну, вылившуюся в веселые минуты после вечерней прогулки в Токсово. Приехав туда часам к семи вечера, мы без провожатых рассыпались во все стороны, по мере как приводились сонные чухонские лошадки. Было только условлено собраться в беседке, знакомой всем посетителям Токсова. Не могу передать стихов Кукольника буквально потому, что мои и Рамазанова варианты, тут же высказанные, невольно набиваются памяти:

Холмистые дали, как волны,
Над морем тумана встают,
И силы, и свежести полны,
Пришельца в объятья зовут.

За отрогом лес в отдаленьи,
За нивою зеркало вод:
Овраги, потоки, каменья,
Все мимо, все дальше, вперед!

В трущобе сердито беснуясь,
Холодный грохочет ручей;
Туманы ложатся волнуясь,
А в роще гремит соловей.

Как серны, привычные кони,
На черных висят крутизнах,
Иль стелятся с жаром погони
По утлым тропинкам в горах.

* первоначально: разгадку

** С распростертыми объятиями (франц.)

И смотрит Юпитер приветно
На наш в рассыпную поход,
И ждет нас не сон безответный,
Нас Вesper на сходку зовет.

Аврора очнулась, умылась,
Румяным потоком легла,
И Токсова даль озарилась.
И Фебом сменилася мгла.

Венчанный возница пускает
Своих лучезарных коней,
И, кудри откинув, сияет
В парадной ливрее своей.

И обдал он золотом озера,
Кустарники, доли, леса...
Мы Фебу воскликнули: фора!
Брависсимо! vivat! ура!

Ездили мы иногда и в Павловск послушать Гунгля⁹; обедали обыкновенно в особых комнатах на верху вокзала. Раз как-то мы были порядочно навеселе, когда спустились в зал оркестра; но остались тут не долго и вышли на простор. Посредине площадки, вокруг которой мы уселись, откуда ни возьмись, остановилась чья-то левретка. Прогрогшая, согнувшись в дугу и поджав заднюю лапу, она дрожала, как осинный лист. Не успел ее заметить К. Брюллов, как очутился перед ней и до того комично и вместе отчетливо передразнил ее, что раздался общий хохот. Паясничество и фарс, к которым он привык на их родине, в Италии, давались ему в совершенстве. Он и согнулся, как левретка, и дрожал, как она, и выражал глазами то тоскливое беспокойство, которое напоминает во взгляде собаченок взгляд испуганной газели.

«Вот этого музыкой не передашь», сказал сквозь хохот Глинка.

«Нет, передашь», перебил его Яненко, и ни к селу, ни к городу, про-
басил:

Ехал чижик в лодочке,
В бригадирском чине,
Не выпить ли нам водочки
По этой причине?

Он часто цитировал эту галиматью, а на тот раз речитативом и как-то забавно. Поднялся снова смех; смеялась и часть подсевшей к нам публики. Фарсы продолжались, а между тем, любители скандалов занесли их в свою записную книжку.

В конце мая (1840) К. Брюллов сделал наконец эскиз давно задуманной им картины «Осада Пскова». Как хорош был этот эскиз! Как жалка перед ним неоконченная картина!

2 июня я встретил его в коридоре Академии с его краскотером Липиным, тащившим целую кучу живописных принадлежностей. Брюллов был в возбужденном состоянии и сказал мне: «Идем в большую мастерскую, на осаду Пскова, недели на две; присылай мне, пожалуйста, по две чашки кофе, по два яйца и по тарелке супу».

Я жил тогда во 2-й линии, насупротив мастерской, и исполнял аккуратно его желание. К его меню я прибавлял только жареного цыпленка, который ни разу не оставался лишним.

15 июня, когда я был один в квартире, часов в 7 вечера раздался звонок. Вошел обросший бородой и сильно похудевший К. Брюллов.

«Дашь мне шампанского, да чего-нибудь съесть?» — спросил он, видимо, довольный своею работой, и прибавил: «Теперь скажи, как отделаться от любопытных? Показывать неоконченную картину, все равно, что ходить без сапог».

Припоминаю его слова всякий раз, как мне приходится видеть так гениально задуманную и так несчастливо остановленную в исполнении «Осаду Пскова». Что тут за убийственная пестрота и в красках, и в линиях! А из-за этой-то пестроты и казнился художник при мысли, что картина может остаться неконченной. И как сон в руку: подоспели требования на картоны, на работу для Исакиевского собора... а затем... но об этом после.

Между тем, как я говорил слуге о вине и закуске, Брюллов набросал на недописанном мною листе бумаги несколько карикатур на своих братьев, на Кукольника, на Шебуева * и Шевченко и сказал:

— Да пожалуйста, нельзя ли из этих уродов Глинку и Кукольника сюда? жить хочется!

— Попробуем.

Слуга отправился, и нам посчастливилось. Кукольник и Глинка оказались по домам и не более, как через час, оба приехали вслед за посланным, который успел запасть и всем нужным. Началось бражничанье, пошли рассказы с спорами и смехом пополам. После труда весело.

Не уступая К. Брюллову, Глинка усиленно работал все это время над «Русланом и Людмилой». Кукольник — над «Эвелиной де-Вальероль», а ваш покорный слуга только что окончил переводы «Римских элегий»¹⁰ и сидел за корректурами газеты¹¹.

Погода стояла великолепная; окна были раскрыты; мы пропировали до 5-ти часов утра. Несколько эскизов карандашом и чернилами, между ними набросок Брюллова, эскиз двенадцатиглавого Исакиевского собора, и лоскуток нот с импровизацией Глинки остаются у меня от этого вечера и поныне.

— Зачем эта мрачная масса в нашем мрачном климате? — говорил Брюллов, смотря из моих окон на нынешний собор, — белый, с золотыми маковками, букет к небесам был бы здесь лучше!

К концу нашей беседы Глинка выразил и энергично провел мысль: положить конец приходившему в упадок кружку, собиравшемуся у Кукольника. Что Глинка не был лишен в важных обстоятельствах жизни практического такта, это доказал он и тем, что первый понял необходимость предупредить жалкие последствия постепенного, нравственного упадка близкого ему человека. Высказав желание разом покончить со всей компанией, он предложил нам поддержать его мысль.

— Да как же это сделать? — спросил Кукольник, — куда же денутся Ставассер, Иванов, Рамазанов, тот, другой, третий?

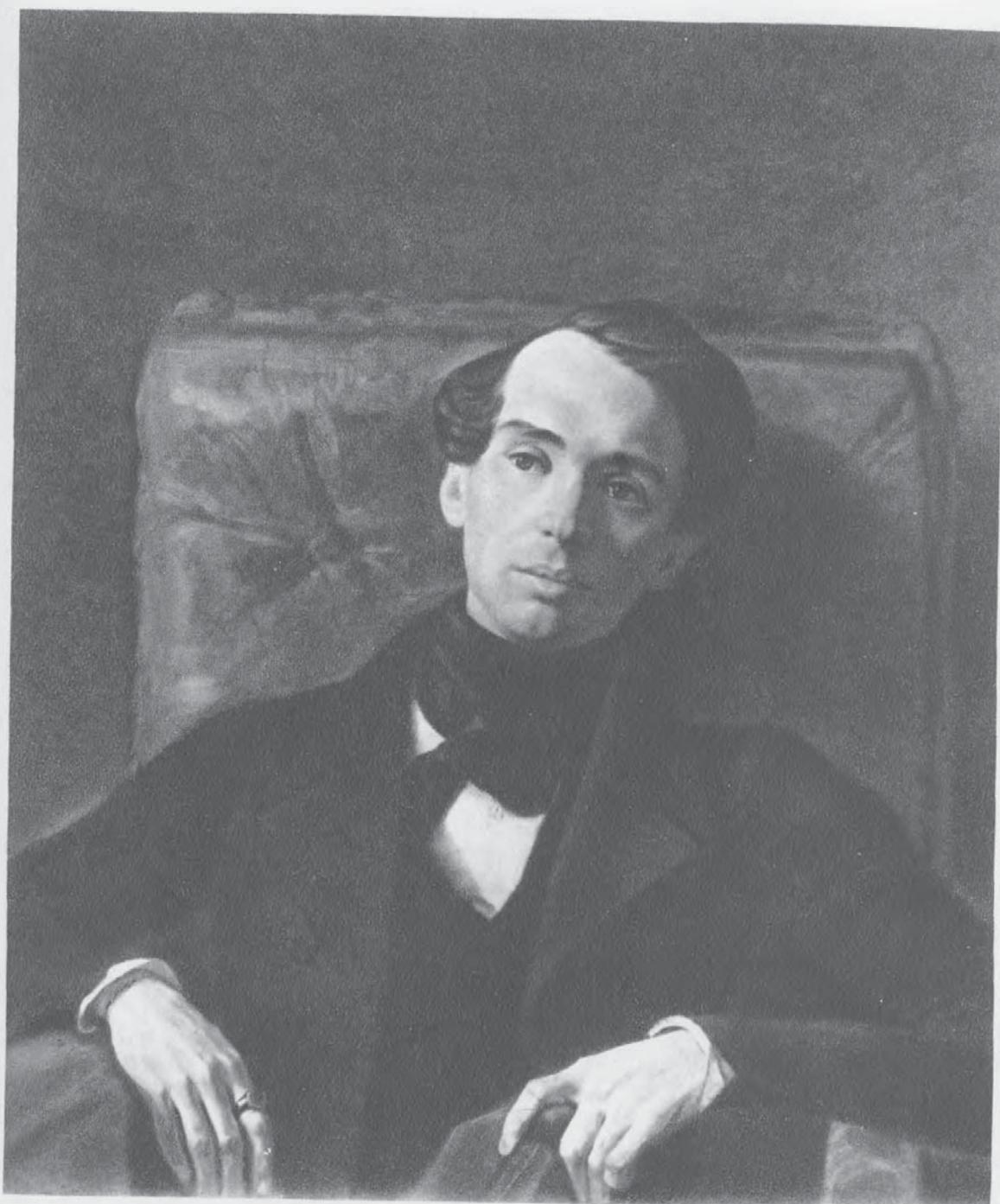
— Очень просто, — отвечал Глинка, — найми маленькую квартиру и до осени никому, ни слова о том.

Я ухватился обеими руками за его предложение, а Брюллов заключил беседу решительным «баста!» и поднял бокал за новую, свежую жизнь!

— Быть делу так! — отвечал Кукольник, и мы распрощались.

К сказанному о наших сходках прибавлю, что они имели тройкий характер: во-первых, сподручный, ради газеты, которая отвечала и желаниям Академии, давно не имевшей своего органа **; во-вторых, поощрительный, ради артистов оперы, которых привлекал талант Глинки, и в-третьих, характер своей темной стороны, которой главными виновниками были Платон Кукольник и Яненко, — последний в ролях виночерпия, форшнейдера и маркитанта, к чему его побуждали, как он сам откровенно

* первоначально было: Глинку



А. Н. СТРУГОВЩИКОВ
С портрета К. П. Брюллова

говорил, его семейные нужды. Поощряемый Платоном Кукольниковым, он с ним приглашали нас на обеды и пикники в складчину, иногда по циркулярным повесткам вроде сохранившегося у меня билета, с литографированной виньеткой Карла Брюллова: «Знаменитая пробка известного берлинского штофа, извещая с душевным прискорбием о кончине его, последовавшей на прошедшей неделе впотьмах, просит пожаловать на его поминки в квартиру Я. Ф. Яненко, у Семеновского моста, на Фонтанке, угловой дом Пономарева, со внесением на похоронные расходы 2-х рублей»¹². Внизу приписка Маркевича:

А я буду пить одно
Шампанское вино.

Все, что тут делалось нелепого, делалось под руководством П. Кукольника, смотревшего на многих гостей брата, как на дойных коров. Он рассчитывал и на талант Глинки. Эксплуатация началась с издания известных двенадцати романсов, под заглавием «Прощание с Петербургом». В чем состояла его сделка с издателем Гурскалинным (фирма — «Одеон») — кто их знает, а сделка была¹³. Тут все пускалось в ход: и обещания выгод, и поддельные восторги, а иногда и крупные речи. Я и теперь не могу вспомнить без горькой улыбки, к каким уловкам прибегал Платон Кукольник, чтобы заставить своего брата Нестора писать по нескольку романсов в неделю, а Глинку — класть их на музыку, а Яненко, Каменского и Губера их популяризировать. Начиная с легких опытов над Варгуниным, ставившим в долг бумагу, и оканчивая налеганиями на неподатливого Карла Брюллова, П. Кукольник производил свои эксперименты, по очереди, и над другими. Так, в продолжение нескольких недель, К. Брюллов написал, и разумеется *gratis**, два поколенные и один поясной портрет всех трех братьев Кукольников: Нестора, Платона и Павла¹⁴. Роль Платона Кукольника, относительно его брата, Глинки и Карла Брюллова, выясняет многое, несправедливо павшее и на другие простодушные головы**. Чтобы снять с них незаслуженную тень, одно средство — не шадить виноватого. Молча, но не без горечи, смотрели на все это искренно любившие и ценившие Глинку братья Степановы, и немногие другие, преданные ему люди, к которым надо отнести и покойного М. Геденова.

На вечера Кукольника приезжали и московские гости: Надеждин, Грановский, Севастьяновы***. На званных, музыкальных вечерах числа гостей доходило до семидесяти, причем не были забываемы в приглашениях ни Я. И. Ростовцев, ни Л. В. Дубельт. Поддерживать их знакомство составляло особенную задачу для Платона Кукольника или, как он выражался, «важную стратегию». В виде контрабанды, являлся на эти вечера и известный, принадлежавший к кружку графа В. А. Соллогуба, шалун Булгаков¹⁵. И тут, как в домах кн. Одоевского и гр. М. Виельгорского, не помню его иначе, как приезжавшим далеко за полночь, к ужину. Таким образом, кружок Кукольника составлял в обыкновенные дни группу постоянную, как мозаика, а в званные дни пеструю, как в калейдоскопе.

Раз я объяснился о Кукольниках с Белинским, в присутствии Грановского. Когда Белинский выразил удовольствие на мое сравнение Н. Кукольника с Сумароковым «нашего времени» — «нет, возразил

* бесплатно (лат.)

** первоначально было: Роль Платона Кукольника по отношению к Глинке и Карлу Брюллову, хотя и была отрицательной, но выясняет многое, так тяжело и несправедливо павшее на них одних и на другие простодушные головы.

*** В печатном тексте добавлено: и если не ошибаюсь, М. П. Погодин.

Грановский,— Сумароков действовал и умер бездарным разумником, а Кукольник и живет и умрет даровитым глупцом».

В конце концов, Н. Кукольнику пришлось расплатиться за нелепости брата Платона и Яненко. С упадком его средств, с литературными на него памфлетами, он приуныл и как бы упал духом.

Не беда, если между делом и бездельем скажется иногда глупость, но не могло же так называемое меньшинство оставаться равнодушным к повторявшимся пошлостям. Несмотря на бутады Платона Кукольника, я не переставал бывать и на других литературных вечерах, где на кукольниковские сборища смотрели со справедливым предубеждением. И порицатели были правы; правы не в нападках на возлияния Бахусу, от которых были не прочь и друзья Виельгорского, Одоевского и Соллогуба, чему я бывал живым свидетелем,—правы были порицатели в том, что вся кукольниковская компания не внесла в нашу литературу ни одной новой, сильной мысли, не выработала ни одного здорового общественного принципа, как не сделали этого и гостиные наших меценатов, с их Жуковскими и Вяземскими. [Но литературное влияние последних в периоды 1820 и 1830-х годов обусловлено было иной средой. Погром 14 декабря отнял надолго охоту у передовых людей общества вмешиваться во внутреннюю политику нашей жизни, да и самые пути к тому были загорожены*.] Неоспоримая заслуга последних тут не при чем. И как честь славной русской музыки принадлежит Глинке, так и честь нового, смелого слова принадлежит, как известно, людям другого закала. Поэтому-то и хорошие стороны кукольниковского кружка не искупили отсутствия того, чего требовало и время, и подготовленная почва; а что она была подготовлена, это доказала наша литература сороковых годов, с ее последствиями.

На беду, молва о недавней размолвке Глинки и Брюллова с женами ходила еще по городу с прибавлениями, разумеется, петербургских кумушек. Странно было при этом то, что петербургская публика, в особенности барыни, нападали на своих любимцев в то время, когда они подавали собою пример бескорыстного, свободного труда и творческой деятельности, как будто эта славная деятельность, воочию всему Петербургу, не давала им права на более осторожные приговоры в делах, для постороннего темных**. С отвращением припоминаю некоторые отзывы в конце тридцатых годов как о К. Брюллове и Глинке, так и о Пушкине, которого костюм и манеры не всегда приходились по вкусу пустозвонам великосветского пошиба. Да, попугаизму и злословию открылось тогда широкое поле. К. Брюллов и Глинка, при всей их сдержанности, почувствовали себя ненормально; но работали усиленнее,— что можно доказать одним перечнем их работ — нежели когда-либо; надобно же было и желчь разгонять, а причин для нее было довольно. Выше мы видели, что это не помешало Глинке отнестись тепло к шаткому положению Н. Кукольника; не всякий в известном настроении духа думает и действует за другого.

В конце августа мысль Глинки осуществилась: Н. Кукольник переехал в маленькую квартирку четвертого этажа, на дворе, у Харламова моста. В первые четыре месяца Глинка, К. Брюллов и я приезжали к нему раза по два и по три в неделю¹⁶. Приезжали и братья Степано-

* Последние две фразы в рукописи отсутствуют; возможно, что они приписаны в корректуре самим Струговщиком, но не исключено также, что эти фразы вставлены редактором «Русской старины», М. И. Семевским.

** Такие толки приходили на толки о жадности К. Брюллова к деньгам, о его скупости. В своем месте я уясню, насколько правды, как тут, так и в вещах более серьезных, говорил я был свидетелем — *Примечание А. Н. Струговщикова.*

вы, но реже. Между тем, как Глинка работал обыкновенно с Кукольниковом за роялем, Брюллов чертил в соседней комнате эскизы, а я держал корректуры газеты и знакомил его с немецкой литературой. Здесь-то, в тишине, Глинка окончательно выработал все остальные номера «Руслана и Людмилы»¹⁷. Здесь же наслаждался он исполнением, на бедном инструменте, своей интродукцией (вся первая половина первого акта), созданной им незадолго перед тем, на дороге из деревни в Петербург. Знатоки, в том числе и В. В. Стасов, считают ее перлом гения Глинки.

Жившая тогда с Кукольниковом Амалия, впоследствии его жена Амалия Ивановна, показывалась только мельком, по хозяйству*.

Что Глинка забыл в своих Записках об описанных мною вечерах у Харламова моста, это могу объяснить только тем, что он писал свои Записки спустя пятнадцать лет.

Так прошла осень и январь 1841 года. Первый, проникший в это убежище наше, был Губер; за ним показался Яненко, и вскоре последовала перемена, положившая конец и нашим уединенным вечерам и моим частым свиданиям с Глинкой.

Кстати о честном и простодушном Губере: с своими длинными волосами и бледным лицом, он смотрел засидевшимся студентом; восприимчивый, но мало даровитый, он брался за многое, ни на чем не сосредоточился, и ничего поэтому не сделал. Вот несколько слов из сохранившейся у меня записки Белинского, о так называемом его переводе «Фауста»: «Помоги вам бог... это будет не то, чем плюнул на публику Губер». Когда-нибудь расскажу и о забавном *qui-pro-quo* **, обогатившем нас, по поводу этого странного перевода, превосходными стихами Пушкина. Кто, знакомый с фактурой пушкинского ритма, усомнится, что и самое ему посвящение было исправлено... написано им же? ***.

Когда меня на подвиг трудный, и проч.¹⁹.

Глинка относился к Губеру как-то холодно; я раз заметил ему это; он мне отвечал: — «*Il me fait l'impression d'un homme qui a manqué à sa vocation*» ****. Я спросил: *à laquelle?* *****. Глинка только улыбнулся и сказал: «*mais c'est un beau homme*» *****.

* Так как в следующих статьях вряд ли возвращусь к Кукольнику, то, чтобы сказать несколько слов о его женитьбе, я должен забежать года на полтора вперед.

В июле 1843 г. он приехал ко мне рано утром, когда Глинки не было уже в Петербурге¹⁸.

— Сегодня женюсь на Амалии. Не откажись быть посаженным!

— Женитьба — не крестины, от которых не отказываются, отвечал я; но если дело порешено, то зачем и дальше ходить?

— Спасибо!

Кукольник прибегал к лаконизму и усиливал свое малороссийское произношение, когда хотел пооригинальничать. О своем намерении жениться он гозорил со мною и прежде; но как мои возражения не действовали, то мне осталось только послать за каретой, чтобы вместе отправиться на первое Парголово, где он жил с невестой. Дорогой он мне начал восхвалять ее качества; а как я со стороны знал больше его, то клал его слова в карман и ехал далее. Невольно думалось — что за чепуха!

В деревянной церкви, на горке, при въезде с Поклонной горы в первое Парголово, Н. Кукольник был обвенчан без церемонии, без гостей, в предобеденное время. — *Примечание А. Н. Струговщикова.*

** недоразумении (лат.)

*** В печатном тексте добавлено: с перифразой конца по смерти Пушкина.

**** Смотрю на него, как на человека, который изменил своему призванию

(франц.)

***** какому? (франц.)

***** но он славный человек (франц.)

В начале 1841 г. Глинка нашел себе теплый по душе уголок у М. Гедеонова²⁰. Я не бывал у него, да и он был у меня только один раз.

Осенью 1841 г., когда дела книгопродавца Смирдина пришли в крайнее расстройство, в пользу его затеяно было издание «Русской беседы», в котором кн. Одоевский и гр. Соллогуб приняли самое теплое участие. Это дало мне повод видаться с Соллогубом чаще. В конце ноября 1840 г., когда последний оканчивал свою «Аптекарьшу», я встретился у него с Лермонтовым, и на вопрос его: не перевел ли я «Молитву путника» Гёте?—я отвечал, что с первой половиной сладил, а во второй—недостает мне ее певучести и неуловимого ритма и что не мешало бы показать эту вещь Глинке.

— А я, напротив, мог только вторую половину перевести,— сказал Лермонтов, и тут же по просьбе моей, набросал мне на клочке бумаги свои «Горные вершины».

Этот автограф, остающийся у меня и поныне, я показал на другой день Глинке, прочитав ему и мои обе половины. Целое ему понравилось; Глинка тотчас же заметил перемену ритма и эффект, который это может иметь для музыки, как это чувствуется и при чтении подлинника. Он тогда же просил списать ему целое с вариантом Лермонтова, но я почему-то замешкался это сделать и потом забыл исполнить желаемое. Целое у меня выходило так:

На тихую пристань с мольбою
К тебе припадаю, уйми
Сомненья и скорби мои!
Довольно! мне радость не в радость,
Я был и блажен, и страдал,
От счастья и горя устал.
Забвенье, небесная благодать,
Потухшие веки закрой
И в лоне своем успокой!

Стихли все равнины,
Рощи и поля,
Скоро на вершины
Ляжет ночи мгла.
Ухо еле внемлет
Шелесту листвы:
Птичка уже дремлет...
Отдохнешь и ты.

В конце декабря 1840 г. Глинка как-то приехал ко мне в предобеденный час. В одной руке держал он сверток романса «Жаворонок», с печатным мне посвящением, и сказал:

— Вот, вам две вещицы: во-первых, примите сей цитрон, — и он положил на стол экземпляр, за который я благодарил его еще ранее.— А вот вам,— продолжал он,— и на целый лист материалу для вашей газеты,— статья обо мне Мельгунова, нашего однокашника; боюсь только, не слишком ли он расхвалил меня? Я было отдал эту статью Кукольникову, но теперь у него хаос и в бумагах, и в голове!

После обеда он сам присел к инструменту, пропел «Жаворонка» и, по просьбе моих домашних, повторил его. Грацию, которою исполнен этот романс, он вариировал с таким искусством, что можно было принять одно и то же за две различные композиции. Потом мы ушли в кабинет, и он заговорил о современной литературе, жаловался на отсутствие в ней жизни, стихи наших поэтов находил после Пушкина тяжелыми, с недостатком певучести. Тут-то я вспомнил и о недавней встрече с Лермонтовым и прочел ему наши стихи «Молитва путника». Глинка был в восторге как и в предшествовавшие дни, и как будто искал

человека, чтоб исповедать свою грусть; на ту пору мне в голову не пришло вызвать его на огкровенность. Под вечер мы вместе отправились к Кукольникову, где уже поджидал нас К. Брюллов.

Дня через три после этого я встретился с ним у графа Ф. П. Толстого. Тут Глинка мне сказал:

— Знаете что, ведь я передумал печатать до времени статью Мельгунова; его панегирик может показаться чересчур нескромным; оставьте статью у себя и напечатайте, когда придет время, чтобы мне не пришлось краснеть за лишнюю хвалу.

Автор этой статьи, тот самый Н. А. Мельгунов, о котором Глинка говорит в своих Записках: «...он не оставался долго в пансионе, по причине слабого здоровья; я часто посещал его по выходе из пансиона и гостил у его добрых и приветливых родителей».

Время пришло; вот этот очерк Мельгунова о деятельности Глинки по 1837-й год, с припиской автора; статья его озаглавлена: «Глинка и его музыкальные произведения»*.

Буквально исполняя желание Глинки, я тщательно сохранял автограф Мельгунова в ожидании полного общественного сознания заслуг нашего великого композитора. В. В. Стасов, которому я показывал эту статью и читал мои заметки о Глинке, согласился со мной, что она теперь только дождалась своего времени и что теперь Глинке не придется «краснеть за лишнюю хвалу».

Одаренный от природы многообразно, М. И. Глинка принадлежал к числу натур, отдающихся всецело одному, главному призванию,— натур, исключительно тяготеющих к им сродному, им прирожденному. И если рассмотрим автобиографию нашего знаменитого композитора со стороны его симпатий, то убедимся, в большинстве случаев, что вся его жизнь проходит большей частью в тесных общениях только с людьми, глубоко понимавшими музыку и работавшими с ним над нею; отсюда в его Записках те пробелы, которые только частью могли быть пополнены его сестрой, Людмилой Ивановной Шестаковой, и людьми ему близкими, В. В. Стасовым и П. А. Степановым. «Правда имеет свой запах», говаривал Карл Брюллов, и она-то действует на вас так симпатично при чтении их записок. К пополнениям автобиографии Глинки можно отнести и первую половину заметок Ф. М. Толстого о его встречах с Глинкой в Милане; вторая же написана в настроении слишком субъективном, и мне сдается, что он сделал бы лучше, если бы приберег их для себя.

Мельгунов говорит в своей статье, что Глинка вышел из университетского пансиона первым. Это ошибка. Глинка вышел вторым, как это видно и из документов, к историко-статистическому обозрению учебных заведений, А. С. Воронова. По выпуску 1822 г., второго с основания пансиона при Педагогическом институте (1817), переименованного через год в Университетский (1818)²¹, товарищами Глинки были: 1) Станислав Петровский, 2) вторым вышел он, Глинка, 3) Степан Палицын, 4) Александр Краевский, 5) Иван Яковлев, 6) Василий Гудим-Левкович, 7) Гавриил Вульф, 8) барон Борис Вревский (брат Павла, убитого при Черной), 9) Николай Красно-Милошевич и 10) Карл Дидрихс.

Не родись Глинка великим композитором, на что он положил всю свою жизнь и весь свой гений, он, вероятно, проявился бы ярко и на ином поприще; так многообразны были его способности. Последние соединял он с развитием, возможным по времени и по среде, в которой

* Статья Н. А. Мельгунова публикуется самостоятельно на стр. 159 наст. сборника.

жил. Нельзя не пожалеть при этом, что судьба не сохранила ему таких достойных товарищей, как Мельгунов и Подолинский. Последний, к сожалению всех знавших его, оставил столицу еще задолго до кончины Мельгунова, последовавшей почти вслед за присланной им статьей о Глинке²².

Считаю обязанностью закончить мою статью замечанием, быть может, неприятным для составителей проектов памятника М. И. Глинке, но необходимым ввиду отечественного дела, к которому они призваны.

В заголовке нот, известных под заглавием «Прощание с Петербургом», красуется литографический псевдо-портрет Михаила Ивановича²³. Этим-то портретом, как оказывается, руководствуются гг. конкуренты на проект памятника ему²⁴.

С полным убеждением, которое могут подкрепить и свидетельства, например: графа Ф. П. Толстого, П. В. Басина, А. П. Брюллова, К. А. Тона, В. В. Стасова, П. А. и Н. А. Степановых и многих других, знавших покойного композитора, начиная с его родной сестры Л. И. Шестаковой, заявляю, что ни названный литографический портрет, ни проектированные, выставленные в Академии Художеств статуэтки, не имеют ничего общего ни с физиономией, ни с фигурой, ни даже с легко уловимыми прической и костюмом покойного композитора.

Я рекомендовал бы гг. художникам поруководствоваться, для передачи весьма характерной физиономии его (это может показаться странным, но я готов доказать рациональность предлагаемого руководства каждому, способному понимать относительность вещей) теми карикатурами, которые в таком обилии оставлены карандашом и пером К. П. Брюллова. Кто видел Глинку хоть раз, тот узнает его тотчас, хотя бы по очерку его головы, хранящемуся у меня, и может воспользоваться им, если бы почему-нибудь коллекция В. П. Энгельгардта оказалась недоступною.

Есть и другой, обыкновенный способ для посмертных портретов и бюстов. К такому способу недавно прибегнул известный наш художник Ге, когда лепил бюст покойного Белинского. Он пригласил в свою мастерскую И. С. Тургенева, который пригласил и меня с собой. Нам предстояла задача — помочь художнику в передаче данной физиономии, и конечно, после наших замечаний, указаний и взаимных проверок, бюст Белинского много выиграл в сходстве. Я уверен, что каждый, знавший близко покойного М. И. Глинку, Пушкина и других отечественных людей, будет к услугам гг. конкурентов, когда дело дойдет до моделей и самих памятников им.

И. К. АЙВАЗОВСКИЙ

ИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

Михаил Иванович Глинка производил в первую пору знакомства на мое воображение несколько странное впечатление. Очень маленького роста, худенький, черненький, с лицом бледным, темными рассыпанными в беспорядке волосами — вот портрет Глинки, и он вовсе не носил на себе отпечатка гордости и величия, которые отличали, например, Антона Григорьевича Рубинштейна с могучим вдохновенным видом его в минуты артистического подъема и львиною гривой его и других бессмертных композиторов, которых я после встречал в Западной